

ВАРИАНТЫ К «ПОВЕСТЯМ В ПОВЕСТИ»**I****ПРЕДИСЛОВИЕ**

Для подруг или друзей автора
[Вариант 6—9 октября 1863 г.]

Натурально будет предположение, что роман написан мною. Я не имею причин не сказать больше: все до одной страницы, с которых он печатался, написаны моею рукою. Но, добрые друзья мои и добрые подруги автора, «кто автор?» — вопрос совершенно иной. Это вопрос очень глубокий. Постараюсь объяснить его попроще и покороче.

Я не скажу вам, полагаю ли я, что этот роман — великое произведение. Это вопрос, который решит время. Если через двадцать лет будут помнить этот роман, — вопрос о значении его будет ясен. Раньше многих лет нечего рассуждать об этом. Теперь речь только о том, кто его автор. Это проще всего объяснится разбором какого-нибудь подобного случая. Для общеизвестности примеров надобно сослаться на знаменитые случаи. Вы знаете первую часть «Фауста». Вы знаете, что она не существовала бы без Гретхен и Мефистофеля. Сам Фауст — только слабое и, по-моему, плохое отражение борьбы этих двух начал: он лицо не самостоятельное. Он — раб то Мефистофеля, то Гретхен, не больше. Что же мы знаем от самого Гете? Он говорит: «Мефистофель внушен мне Мерком; насмешливое лицо Мерка было перед моими глазами, слова Мерка звучали в моих ушах, когда я думал о Мефистофеле». Мерк был один из друзей молодости Гете. Убежден в том, что насколько Мефистофель принадлежит самому Гете, настолько Мефистофель опошлен и искажен; что насколько есть сильного, великого в Мефистофеле, Гете целиком выхватил из разговоров и жизни Мерка. Чтобы убедиться в этом, надобно только прочитать, что сам Гете рассказывает об этом человеке. Мерк был натура более сильная, чем Гете. У него не было стихотворного таланта; он не приобрел славы, — быть может, именно потому, что для того века подобные натуры еще не годились. Кто Гретхен? — Девушка, бывшая служанкою на постоялом дворе, — скорее это постоянный двор, чем трактир. Гете видел ее, когда ему было 10 или 12 лет, ей лет 17. С нею не было ничего такого, как с Гретхен в «Фаусте», — но и по признанию, и без признания Гете ясно, что все очаровательное в Гретхен в «Фаусте» целиком списано с этой девушки. Говорят: «она опозитизирована, идеализирована»; — не будьте доверчивы к тому мнению о человеке, которое внушает такой взгляд на поэтические типы. Это мнение узкое, поверхностное; ныне оно свидетельствует об отсталости, незнании фактов, уже

выработанных исторической жизнью, уже внесенных в научные аксиомы. Глаза, умеющие видеть то, что существует в жизни, в наше время не могут не видеть, что человек прекрасен. Прежде не знали этого. Теперь совестно не знать. Большая часть женщин имеют в своей жизни время, когда их сердце чисто. Очень многие навсегда остаются такими. — Я не уступаю никому в знании дурного и низкого. Не уступаю в этом никому, — ни Фуше, ни Тацит, ни Ваньке Каину, ни Торквемаде. Я читал историю, читал газеты; этого очень довольно; могу сказать больше: я имел случай быть очень близок с людьми очень гадкими. Я понимал, что я читаю, что вижу что я, быть может, чувствую в своем собственном сердце, — быть может, и это: почему вы знаете, что нет? Никто, кроме самого человека, не знает и всего того, что он делал, — еще менее может кто-нибудь другой знать все, что испытывал человек в душе. Это могут сказать о себе многие. Я могу сказать о себе больше: вы знаете обо мне, что я известен как писатель, нагло хохочущий почти над всем, что страшно или почтенно для очень многих. Это недаром. Я не институтка. Я не верю ни во что и — что гораздо сильнее — не верю никому из людей. Ныне такой век. Не только Гете с своим Фаустом и Мефистофелем, — Байрон с своим Каином — дети для людей нашего века. Но люди нашего века не очень мучатся тем, что их скептицизм идет гораздо дальше мефистофелевского и каиновского. Они не верят ни во что, но они уже з н а ю т кое-что; они не верят никому из людей, — но они з н а ю т человека и з н а ю т тех людей, с которыми близки. Верю ли я в то, что земля имеет шарообразный вид? — Я знаю это; кто сомневается в этом, о том я сострадаю, как о невежде, или над тем я смеюсь, как над пустым фразером, или того я презираю, как шарлатана. Верю ли я чьим-нибудь словам, что этому говорящему хочется быть сытым или тепло одетым? — Я это з н а ю и, притом, без его слов. Если он станет уверять в противном, я холодно скажу: «Или ты шутишь, или ты ошибаешься, или тебе надобно лечиться». Не правда ли, это очень простая истина? Поэтому я не верю ничьим словам; но я з н а ю, что очень многие люди говорят правду. — Точно так же я отвечаю на вопросы: имеет ли человек влечение быть добрым, честным, чистым? — Имеет, это известно. Если в некоторых я вижу или от некоторых я слышу противное, смутит ли это меня? — Столько же, как вид или слова человека, которому (будто бы) не хочется быть сытым. О многих, очень многих я лично з н а ю, что они добры, честны, чисты. Это я знаю точно так же, как знаю, какого цвета их глаза, волосы, — из наблюдения. Если мне будут говорить, что у этого человека, мне знакомого, русые волосы — эти слова не имеют влияния на мое убеждение о цвете волос его: у меня есть основание более твердое: я видел их и всматривался, натуральные они или накладные, подкрашенные или нет. Если он сам станет уверять меня в том, что у него русые волосы, — и его собственные слова не поколеблют моего убеждения о цвете его волос, я только увижу из его слов, знает ли он сам цвет своих волос и шутит или не шутит он со мною.

Вот, мои добрые друзья и добрые подруги автора, как смотрим мы с вами на жизнь и людей. Просто. Очень просто. Но внимательно. Стараемся быть зоркими; понимать то, что видим. Многого мы не знаем; это иногда затрудняет нас. Но очень многое мы з н а е м; мы знаем вещи, которых теперь мудрено не знать, — все вот какого рода: земля вращается вокруг солнца; по морю плавают; по полю ходят и ездят; забота об устройстве хороших путей сообщения — хорошее дело; у каждого человека есть три очень важных органа: голова, грудь, желудок, — без этого никогда не бывает; почти у всех по две руки и по две ноги; впрочем, бывают люди и без этого, отчасти или даже вовсе; вовсе — очень редко: много ли несчастных, у которых нет ни одной ноги и ни одной руки? Хромых и одноруких — не очень мало; это очень жаль; но это нисколько не относится к вопросу о том, натурально ли человеческому организму иметь две руки и две ноги.

Вот что мы з н а е м. На этих и тому подобных знаниях основан весь роман «Повести в повести». Я ли автор этих знаний? — Подумайте, и вопрос об авторстве получает новый вид.

Но об этом пусть подумают уже сами по себе те из вас, кому будет охота. А мы не будем углубляться так далеко. Общие идеи — пусть они не относятся к вопросу о том, «чье это произведение?» — Они относятся; но здесь мы возьмем вопрос только в узком значении: кто больше автор Мефистофеля, Мерк или Гете? Кто больше автор Гретхен, та служанка постоянного двора или Гете? По-моему, они больше, чем Гете. Записать слова — не мудрость; кое-как присочинить к ним обстановку — не мудрость. Обстановка в «Фаусте» плоха, — кроме очень немногих сцен; например, и знаменитая первая сцена «Фауста» очень плоховата, если говорить правду. «Это дерзость», — скажут иные. Пусть говорят. А мы с вами пойдем дальше. Обстановка присочинена, и в этом мало заслуги. Но от нее сделалось, что личности Мерка и служанки совершенно затерялись в «Фаусте». — Вы все знаете, что Мерк не был чорт; вы не все знаете, но вы можете легко узнать из автобиографии Гете, что служанка постоянного двора, Гретхен, никогда не бывала в несчастном положении, до которого довел ее тогдашний «герой нашего времени» немецкой поэзии. Я скажу больше: Гете напрасно воображал, что подлинником его лиц служат Мерк и Гретхен-служанка; на самом деле это было не так: Гете думал пустяки. Было вот что: он видел сотни людей, никак не менее, чем Мерк и Гретхен-служанка, похожих на Мефистофеля и фаустовскую Гретхен; они напоминали ему о тех, первых — без этих встреч с другими он слишком слабо помнил бы те лица, — может быть, вовсе и не понял бы те лица. Они были настоящими подлинниками только в его воображении, ошибочно считавшем только этих лиц достойными подлинниками. Достоинных подлинников он сам знал сотни. Все эти сотни тоже авторы Мефистофеля и Гретхен.

Прежде не понимали этого ясно. Говорили: «поэт идеализирует»; — нет, поэт только видит, понимает и записывает. В Мефистофеле не больше, чем в Мерке и в сотнях других образованных людей той поры, знакомых Гете, — нет, в Мефистофеле меньше, чем в каждом из них, — в каждом было более глупее отрицание, была более титаническая дерзость, и наглая и трусливая вместе, характеризующая Мефистофеля. В каждой из многих сотен нежных и чистых девушек, которых знал Гете, больше было нежной и чистой красоты сердца, чем в Гретхен «Фауста». Это все подлинники, лучшие портреты, — это все авторы.

И они ли одни? Ужели случайность встречи с Гете определяла положение людей в жизни немецкого общества, участие их в ней? — Нет, общество было таково, что люди благородной природы становились в нем: сильные — Мефистофелями (и женщины), нежные, но не сильные — Гретхен (и мужчины; возьмите Вертера — это лицо — та же Гретхен, только с мужским именем, с правами мужчины, учившаяся разным наукам и умеющая владеть пистолетом: сердце одно и то же). Нет, добрые друзья мои и добрые подруги автора, авторы «Фауста» — все благородные люди тогдашней Германии.

Кто же авторы моего романа? Все вы, мои добрые друзья и подруги автора. А кто вы? — Я лично знаю очень многих из вас; о других: имен и лиц их я не знаю. Но их сердце я знаю. Это те, кто честны сердцем. Очень давно очень даровитый поэт написал свадебную песню, — очень хорошую, которая начинается так: «Дошли до моего сердца добрые слова, отразились эхом из него, и рука [моя] — рука переписчика».

Видите, добрые подруги автора и добрые друзья мои, какой человек я, переписчик ваших «добрых слов»: ученый человек, охотник рассуждать о серьезных вещах. Но какие люди вы? Вы на этот раз — читательницы и читатели романов; многие из вас делают мою наклонность к сухим материям; но большинство — нет. Я уже показался большинству из вас немного сух, педантичен, — не говорите «нет» — вы знаете, я не верю словам, я знаю вас и знаю ваши мысли, ваши желания. Те, кто скажут: «нет, продолжай, нам еще

не скучно», — почти все скажут это только из доброй любезности. Я не стану злоупотреблять ею. Я буду говорить с вами, как следует романисту, о романе, о вымышленных лицах, рассказывать приключения, — иногда смешные.

Что же я буду рассказывать и о ком?

О ком? — я ваш друг. Вы честные люди. Вы знаете, что честные люди описывают в романах только вымышленные лица. Если бы я поступил иначе, вы отвернулись бы от меня. Я поступил бы не честно. О действительных лицах говорят в ученых сочинениях; в поэтических произведениях — нет, не говорят. Поэтому вы знаете, что мои Верещагины, Сырнев, Всеволодский, Крыловы — это такие же лица, как графиня Кавальканти, Жульетта, Жульен, Галеаццо в «Домашнем секретаре» Жоржа Занда, — эти все четверо, как вы увидите, тоже действующие лица и в моем романе, — как Кифа Мокиевич, Мокий Кифович, Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна у Гоголя. Вы это знаете. Это не копии с моих знакомых. Но, мои добрые друзья и добрые подруги автора, не вы одни будете читать мой роман. Те, другие, «не умеющие читать», как они называются в романе, все ищут: с кого срисовал автор это лицо? Себя, или свою кузину, или своего друга изобразил он? Они никак не могут успокоиться, пока не отыщут чего-нибудь такого. На них, для них самих, я не обратил бы внимания; но они будут мешать и вам своими сплетнями, если не сделат удовольствия их вкусу. Сделаем? — Так ли? — Бросим им мой халат, — пусть занимаются им; иначе от них не отвяжешься. Хорошо? — Я знаю ваши мысли: «Да опиши им себя, чтобы они удовлетворились в своих поисках». Прекрасно. Итак, прежде всего

МОЯ БИОГРАФИЯ ¹

Л. Панкратьев родился в Саратове, губернском городе на Волге, 12 июля 1828 года. Ныне имеет от роду 35 лет. Исповедания православного. Обучался до 14-летнего возраста в родительском доме и по достижении 14 лет, в 1842 году, поступил в 5-й (реторический) класс Саратовской духовной семинарии, где обучался с успешным тщанием; в 1846 году поступил в императорский СПбургский университет по филологическому факультету; где также обучался рачительно и кончил курс со степенью кандидата, в чем и выдан ему документ. По окончании курса в 1850 году поступил учителем в...

Кажется, довольно. Если кому очень нужно, то я не затрудняюсь продолжать. Или мне изображать себя со стороны более интимной? — не имею ничего и против этого желания.

В детстве Л. Панкратьев очень любил играть в «ковзны» (бабки) и кататься на салазках. С охотою займется при случае тем и другим и теперь. С детства очень любил варенье, преимущественно вишневое (сахарное), также арбузы (которые в Саратове очень дешевы и хороши), — любил также шемаю, воблу. К вину не имел влечения никогда, хотя изредка пил, в очень

¹ Если бы я был менее опытен в жизни, то надеялся бы, что хоть этою шуткою для честной части публики, этой оплеухою для некоторой тенденции я отобью охоту к сплетням. Но я не так наивен, чтобы питать подобную надежду. Потому рекомендую предполагать, что я изобразил себя в лице Леонтия Данилыча Верещагина, или Елисея Яковлевича Всеволодского, или даже в лице Лизаветы Сергеевны Крыловой. Я не имею ровно ничего против какого бы то ни было из этих предположений. Но пусть же, по крайней мере, не заводят сплетен хоть про других; про меня самого — сколько угодно; я человек независимый ни от кого; сплетничать про меня неважность. Впрочем, нечего терять слов с такими господами, как те, которых я думал было просить, чтобы они держали себя как люди честные: не упросить их никакими просьбами. — Н. Чернышевский.

умеренном количестве, разные вина, как-то: херес, мадеру и проч. Вкус в водке также знает. Курить начал с 18 лет и приобрел большую страсть к этому, так что в бодрствующем состоянии редко проводит более десяти минут сряду без папиросы или сигары. Сигары курит крепкие, гаванские, — обыкновенно не дорогие: по 8 рублей за сотню. Более дорогих не покупает, не по недостатку денег, а потому, что скуповат. Очень хороших друзей угощает иногда более высокими сортами, как-то Carvajal и другие, каковые иногда курит и один. Но сильнее всех этих пристрастий к салазкам и варенью, вобле (рыба) и куренью была в нем с детства страсть к чтению. Когда же он достиг юношеских лет, то стал очень много и писать.

Кажется, довольно?

Если же кому угодно больше, пусть адресуется в контору «Современника», — через нее, от моих личных знакомых, в случае же недостатка сведений у них — от меня самого, получит полные и точные сведения обо всем, чего желает его душа, — даже хоть и о том, сколько рублей получено мною за этот роман, или о том, был ли я сечен розгами за воровство носовых платков, часов, кошельков и т. д., и если был, то сколько раз и когда.

Одобряете ли это объяснение вы, добрые друзья мои и добрые подруги автора? Вы должны одобрить его. Вы знаете, какие люди составляют часть того общества, в котором вы живете, — вы знаете, какого обращения заслуживают некоторые из ваших соотечественников. Многие из вас, — слишком многие, — слишком мягки с этими людьми; или по кротости, или по неопытности; нет, берите в этом пример с меня: хохочите им в глаза и презирайте их.

Этот совет я даю вам, как человек опытный в обращении с ними.

Но когда они будут несчастны, не помяните им беззаконий их и помогите им спастись от бед, хотя и заслуженных ими, — они все-таки люди; Шаддаи сказал: «смотрю, смотрю я на них — не исправляются; так я же расправлюсь с ними, а ты готовься», спасать их, — дополняется ныне речь Шаддаи. Кого успеете спасти, спасайте.

Довольно.

Теперь начнем роман, добрые подруги и друзья автора.

II

ПРЕДИСЛОВИЕ

Для моих друзей между читательницами и читателями

[В а р и а н т 10 о к т я б р я 1863 г.]

Прежде всего, надобно вам знать, мои друзья, кто вы.

О публицисте Н. Чернышевском существуют два противоположные мнения: по одному, этот Н. Чернышевский, то есть я — писатель бессовестный, человек подлый, по другому, этот Чернышевский — писатель честный и человек честный.

Те, которые и которые держатся второго мнения, — мои друзья. Этот публицист вздумал писать романы. Тут опять явилась прежняя разница мнений. Одни нашли — что бы там ни было, все равно. Я и не знаю гадостей, которые были напечатаны по поводу моего романа «Что делать?». Я не читал ни одной из этих статей. Между прочим, и потому, что я не охотник читать какие бы то ни было произведения глупцов. Другая часть публики осталась довольна романом «Что делать?». Эта часть публики, в которой есть и несколько писателей, состоит из моих друзей.

Между моими друзьями есть люди, которые одобряют мою резкость в объяснениях с моими не-друзьями, есть люди, которым она не нравится. Что делать, — скажу я вторым: берите человека, каков он есть, со всеми его качествами: ангелов на земле давно не бывало. Но с моими друзьями я добр и прост.

Очень многие из них заинтересовались вопросом: имею ли я поэтический талант? — Мне и самому интересно было разрешить этот вопрос. Без поэтического таланта можно написать один недурной роман, — так, Бенжамен Констан, тоже публицист, написал один очень хороший роман. Но быть романистом по ремеслу — я не имею ни охоты, ни расчета, иначе как убедившись в том, что у меня есть поэтический талант. Если бы я увидел «нет», я не напечатал бы второго романа.

Расскажу, что я сделал, чтобы решить для себя вопрос, интересный для меня, между прочим, и в денежном отношении. Главное в поэтическом таланте — так называемая творческая фантазия. Я, никогда не занимавшийся в себе ничем, кроме того, чем заниматься заставляла жизнь, полагал, что во мне эта сторона способностей очень слаба; она, действительно, была неважна для меня, пока я не вздумал стать романистом. Но когда я писал «Что делать?», во мне стала являться мысль: очень может быть, что у меня есть некоторая сила творчества. Я видел, что я не изображаю своих знакомых, не копирую, — что мои лица столь же вымышленные лица, как лица Гоголя, — не то, что Онегин и Печорин, Фамусов и Софья.

Я не хочу сказать этим, что у меня такая же сила творчества, как у Гоголя. Нет, этим я и не интересуюсь. Я столько вдумывался в жизнь, столько читал и обдумывал прочтенное, что мне уже довольно и небольшого поэтического таланта для того, чтобы быть замечательным поэтом. Один из моих любимых писателей — старик Годвин. У него не было такого таланта, как у Бульвера. Перед романами Диккенса, Жоржа Занда, — из стариков — Фильдинга, Руссо, романы Годвина бледны. То люди не чета нашим Пушкиным, не то что нашим Тургеневым и Гончаровым. Но бледные перед произведениями, каких нет ни одного у нас, романы Годвина неизмеримо поэтичнее романов Бульвера, которые все-таки много лучше наших Обломовых и т. п. Бульвер — человек пошлый, должен выезжать только на таланте: мозгу в голове не имеется, в грудь вместо сердца вложен матерью-природою сверток мочалы. У Годвина при посредственном таланте была и голова, и сердце, поэтому талант его имел хороший материал для обработки. Это дело вот какого рода. Бульвер, например, светский человек, у которого нет ничего, кроме светского изящества. А Годвин — имеет туго набитый карман; совершенно без светского изящества Годвину не следует пускаться в светское общество, но если он имеет хоть небольшую светскость, он затрет Бульвера, помрачит его в салонах.

Я не желаю помрачить никого, как романист. Не имею такого желания, между прочим, уже и потому, что не имею надобности: мое честолюбие — не честолюбие романиста. Романы пишу я мною не для славы, — будет она получена мною, или нет, это дело судьбы и решается историей, я ищу ее не романами. Не романами, между прочим, и потому, что в этом очень мало расчета. Я пишу романы, как тот мастеровой бьет камни на шоссе: для денег исполняет работу, требуемую общественной пользою. Я знаю, что искры поэзии брызжут при этой работе: кто работает с любовью, тот вносит поэзию во всякую работу, тем более в поэтическую. Но едва ли я поэт по природе. Это я полагаю не по чужим слухам, — я не очень смотрю на чужое мнение, — я полагаю это вот почему: я принадлежу к немногим, которые совершенно лишены способности писать стихи. Из десяти начитанных людей девятеро могут, с трудом или без труда, написать стихотворение, хорошее или плохое. Я положительно не могу написать ничего рифмованного. Даже стихи без рифм, даже стихи простым народным размером, столь легким, почти невозможны для меня: не укладываются в них слова, хоть в молодости я иногда бился над этим. Это ничего не доказывает: способность складывать стихи и поэтический дар — вещи столь же различные, как бойкость речи и ораторский дар. Но все-таки я не помню, едва ли был хоть один великий романист, который не мог бы писать стихов. Потому очень сомнительно, чтобы поэтический талант был у меня велик. Но мне довольно и небольшого, чтобы писать хорошие романы, в которых много поэзии. Я не претендую равняться с великими поэтами. Но

успеху моих романов не мог бы помешать и Гоголь. Я был бы очень заметен и при Диккенсе. Потому я с радостью вижу и теперь, как радовался этому прежде, что в некоторых молодых писателях есть сильный талант. Они мне не соперники. Моя сила не в том. Потому я любил радоваться на сильнейшего из всех нынешних поэтов-прозаиков — на Н. Г. Помяловского. Это был человек гоголевской и лермонтовской силы. Его потеря — великая потеря для русской поэзии, страшная, громадная потеря. Но остаются люди, гораздо сильнее меня талантом. Из них я не считаю неудобным назвать Марка Вовчка. Это талант сильный, прекрасный. По смерти Помяловского он опять остался первым, как был до него. Моя карьера, как романиста, не та. Они — сами по себе, я — сам по себе. То люди одной карьеры с Диккенсом, Жоржем Зандом. Я хотел идти по такой карьере, как Годвин. Чтобы испытать свои силы, Годвин вздумал написать роман без любви. Это замечательный роман. Он читается с таким интересом, как самые роскошные произведения Жоржа Занда. Это «Калеб Вильямс». Он есть и в русском переводе, не очень старом — прочтите, если успеете достать. Очень и очень занимательная вещь. Я говорю массе моих друзей, которая читает только по-русски.

Я вспомнил о «Калебе Вильямсе» только теперь, когда стал думать, как объяснить происхождение моего второго романа, этой «Повести в повести». Когда я писал первую часть его, которая пока одна и готова, у меня в мысли был образец гораздо более занимательный, — «Тысяча и одна ночь». «Повести в повести» по форме — подражание этому великому памятнику поэзии. Но только по форме. Я не могу быть ничьим подражателем. Я подражаю лишь тогда, когда хочу, для шутки. У меня на плечах своя голова. Возвратимся, однако, к объяснению, что такое мой второй роман. Он возник из потребности, сходной с тою, какая внушила Годвину «Калеба Вильямса». Мне также хотелось испытать, действительно ли я имею силу быть романистом, — и я также взял для испытания задачу очень трудную. Но, впрочем, сходства между ними меньше, чем между «Песнею о Калашникове» и «Коробейниками», которые тоже возникли из одной потребности — испытать силы над простонародным русским материалом.

Написать роман без любви, — без всякого женского лица, — это вещь очень трудная. Но у меня была потребность испытать свои силы над делом, еще более трудным: написать роман чисто объективный, в котором не было бы никакого следа не только моих личных отношений, — даже никакого следа моих личных симпатий. В русской литературе нет ни одного такого романа. «Онегин», «Герой нашего времени» — вещи прямо субъективные; в «Мертвых душах» нет личного портрета автора или портретов его знакомых; но тоже внесены личные симпатии автора, в них-то и сила впечатления, производимого этим романом. Мне казалось, что для меня, человека сильных и твердых убеждений, труднее всего написать так, как писал Шекспир: он изображает людей и жизнь, не высказывая, как он сам думает о вопросах, которые решаются его действующими лицами в таком смысле, как угодно кому из них. Отелло говорит «да», Яго говорит «нет» — Шекспир молчит, ему нет охоты высказывать свою любовь или нелюбовь к «да» или «нет». Понятно, я говорю о манере, а не о силе таланта. Гоголь был, конечно, поменьше Шекспира. Я не имею претензии ставить себя и на одну доску с Гоголем.

Но я хотел написать произведение чисто объективное. Мне кажется, что это удалось мне. Ищите, кому я сочувствую: Верещагину или «Рукописи женского почерка». Вы не найдете этого. Я одинаково отношусь к той и другой стороне. Когда я почти нужным сказать, на которой я, это будет моя добрая воля. Я вижу, что я могу беспристрастно смотреть на борьбу Верещагина с «Перлом создания». В самом «Перле создания» каждое поэтическое положение рассматривается со всех четырех сторон, — ищите, какому взгляду я сочувствую или не сочувствую. Ищите, как одно воззрение переходит в другое, — совершенно несходное с ним. Вот истинный смысл заглавия «Перл создания» — тут, как в перламутре, все переливы всех цветов

радуги. Но, как в перламутре, все оттенки только скользят, играют по фону снеговой белизны. Потому относите к моему роману стихи эпитафия:

Wie Schnee, so weiss,
Und kalt, wie Eiss.

Второй ко мне: «белизна, как белизна снега» — в моем романе, — «но холодность, как холодность льда» — в его авторе.

Написать произведение, чистое, как снег, — это не трудно честному писателю, каким считают — и не напрасно считают — меня мои друзья в публике. Но быть холодным, как лед — это было трудно для меня, человека очень горячо любящего то, что люблю. Я успел в этом. Потому вижу, что у меня есть настолько силы поэтического творчества, насколько нужно мне, чтобы быть романистом. То, что я успел написать вещь чисто объективную, считайте верным. О моем таланте можете слушать все, что вам угодно, — тут я могу ошибаться, а главное, это речь щекотливая. Я не говорю и не скажу вам о ней того, чего не думаю; но неизвестно, говорю ли я все, что думаю. Очень может быть, что у меня перед глазами, как человек одной со мной карьеры, не один Годвин, а и еще кто-нибудь, сильнее Годвина. Говорить об этом — неудобно. Не для моего самолюбия, а потому, что это больше дело истории, чем современности. Но вы можете быть уверены, что я вполне понимаю то, что пишу. И говорить об этом — не щекотливо для меня. Потому тут мои слова совершенно надежны.

Мои действующие лица — очень различны по выражению, какое приходится иметь их лицам. Одни действуют холодно и бесстрастно. Такова в первой части «Неизвестная», которая ведет переписку и изустные объяснения с Верещагиным; таков муж Крыловой, — таков старик Всеволодский. Другие часто являются в положениях, в которых горят тем или другим чувством, — гневом, ненавистью, любовью. Я с одинаковым чувством или бесчувствием изображаю и холодных, и волнующихся порывами чувства. Я одинаково смотрю на бесстрастное лицо Всеволодского и на пламенеющие лица многих других. Думайте о каждом лице, как хотите: каждое говорит за себя: «на моей стороне полное право», — судите об этих сталкивающихся притязаниях. Я не сужу. Эти лица хвалят друг друга, порицают друг друга, — мне нет дела до этого. Это не значит, я писал холодно, — это значит, что я одинаково входил в положение и в мысли каждого, а свой взгляд на его положение и мысли отлагал в сторону. Найду ли нужным высказать его, не знаю. Но в первой части не высказывал. Если найду нужным, то и скажу тогда: вот, буду высказывать свой взгляд. Может быть, этого и не понадобится. Может быть, дело будет ясно само собой, без моего содействия вашему пониманию. Это я посмотрю. Вы видите из этого, что мои Верещагин, Сырнев, Всеволодский, Крылова, Тисьмина — лица несравненно более вымышленные, чем не только Онегин, Ленский, Татьяна, Печорин, княжна Мери, Бэла, — нет, выводимые мною люди гораздо более далеки от меня и моих личных отношений к людям, чем Перерепенко, Довгочун, Манилов, Собакевич, — мои лица с русскими именами — лица такие же далекие от моих отношений к людям, как графиня Кавальканти, Жульетта, Жульен, Галеаццо (из «Домашнего секретаря» Жоржа Занда), которые также являются в «Рукописи женского почерка». Я именно это и поставил себе задачей и исполнил ее, и если бы не исполнил, не привелось бы вам читать этого романа. Но не вы одни будете читать его. Другие, «не умеющие читать», как я называю их в романе, не могут никакими резовами быть обращены в людей с здравым смыслом, понимающих, что роман надобно читать, как роман. Они все ищут: с кого срисовал автор вот это или вот то лицо? с себя? или с своей кузины? или с своего приятеля? Они не могут успокоиться, пока не отыщут чего-нибудь такого. Если бы я привел «Шах-Намэ» Фирдавси, они и там все стали бы искать, кто я: Феридун или Зораб, Заль или Рустем, и как приходится мне Гурдафернд, — племянница, или что-нибудь другое, и действительно ли Рудабе не пострадала от моих ловлаесских наклонностей. Это уже такие люди. Я не обра-

тил бы на них никакого внимания, быть может, потому, что я для них негодный человек. И точно, либо во мне, либо в них есть что-то такое, что—либо я Замухрышкин, либо они Псои. По-моему, они Псои. Для них самих, я не обратил бы на них никакого внимания. Но для вас, друзья мои, извольте: бросим им, бросим что-нибудь этим Псоям, чтобы занялись рванием этой подачки, бросим им мой халат, — пусть занимаются им, иначе от них не отвяжешься. Для этого я ввожу в роман Л. Панкратьева, — это мой псевдоним, которым были подписаны некоторые из моих серьезных статей. Л. Панкратьев — это я, Н. Чернышевский. Если бы я был менее опытен в жизни, я надеялся бы, что этою шуткою для невинного смеха честным людям, этою оплеухою некоторой тенденции некоторых людей я отобью у сплетников охоту к сплетням. Но я не так наивен, чтобы питать подобную надежду. Потому рекомендую господам, получающим эту оплеуху, продолжать их обычные занятия и находить, что я изобразил себя в лице Леонтия Даниловича Верещагина, или Елисея Яковлевича Всеволодского, или хотя даже в лице Лизаветы Сергеевны Крыловой. Я не имею ровно ничего против какого бы то ни было из этих предположений. Я человек независимый ни от кого, потому никакие сплетни не могут серьезно вредить мне, Смейтесь над ними, мои друзья, только — как я.

10 октября 1863 г.

Н. Чернышевский.

III

«Начался разговор об этом: что легче, полное публичное исследование жизни, или наше перешептывание, слухи, сплетни. Конечно, все признали, что истина лучше сплетен. Стали толковать о том, почему, однакоже, почти никто не решается печатать свою биографию при жизни, — понятно, из этого все-таки возникают сплетни, потому что нельзя же рассказывать о себе полно, — тайны каждого — тайны не его одного; надобно, чтобы не осталось в живых никого из людей, близких с человеком, только тогда полная биография его возможна. Но нельзя ли чем-нибудь отстранить это неудобство. Нельзя ли рассказать о себе истину так, чтобы не выдать тайну своей личности. Написать биографию так, чтобы никто, кроме самого писавшего и тех, кому уже были известны факты во всей их истине, не мог узнать, чья эта биография. Раза два-три без вас и при вас, — Д. возобновил разговор об этом. Но сам ничего не говорил, только спрашивал мнение других. Я первая сказала, что была бы совершенно готова напечатать историю моей жизни, если бы можно было скрыть от всех, чья это биография, — сделать так, чтобы меня узнали лишь те немногие, очень близкие, которые и без того знают мою жизнь. Другие говорили то же. Потом это было забыто. Ясно, что Д. принял это серьезно, обдумывал, — и когда обдумал, убедил В. («Алфериньку») сделать первый опыт, — потом убедил вас начать мою биографию, — то есть написать разговор, с которого началась моя дружба с вами. Обдуманно хорошо. Личность ограждена. Кто я, кто мой муж, кто другие лица, действующие в «Истории белого пеньюара» — этого не может узнать никто, кроме самих них. И даже из них каждый узнает о других лишь те тайны, которые знал прежде, остальные, чего он прежде не знал, будут казаться ему выдумкою, — поэтизированием, болтовнею. Да, для меня, моя биография вся — вся моя биография; для моего мужа — тайна; для вас — также; еще для двух-трех лиц также; для других наших близких — та или другая часть моей биографии, известная им, уже исчезает в тумане, которым окружено все, — для остальных ваших детей — Лизавета Сергеевна Крылова уже не я, — нет, совершенно поэтическое лицо, — со мною не было ничего подобного, — это роман, написанный кем-нибудь на тему, подобную некоторым мотивам из моей жизни, — я для

них—столько же Лизавета Сергеевна Крылова, сколько я Консуэло, Индиана, Ламмермурская невеста, Джульетта. Смешно, а так. <NN сказала, что это подражание Лелии,— ее муж сказал, что это навеяно Теккереевскими «Ньюкомами».> И между тем все буквально верно.

И какими простыми средствами достигается это. Во-первых — псевдонимами; во-вторых — перемена внешней обстановки, не относящейся к делу, в-третьих — смешиванье разных посторонних анекдотов с главным рассказом; в-четвертых — умышленные внешние несообразности и подстановка лиц, — подстановка одного псевдонима вместо другого. И от этого исчезает всякая возможность проникнуть в тайну личности. — Я понимаю, всего этого еще было бы недостаточно: мне и мужу, конечно, ясно, что есть два-три приема, и («Д» зач.) NN 4 увидит, что я поняла их, потому что употребляю их. Но я не могу говорить Вам о них, потому что я не знаю, известно ли вам о них, или внесены в рукопись только самим NN 4. — Может быть, есть и другие, которых я не замечаю. Муж говорит: этот NN 4—Аод; что такое, Аод? Кто такое, Аод?— Муж говорит: «Это, душенька, можно объяснить различно, — я тебе объясню, что это греческое слово, которое может значить — или «человек, входящий в безвыходное положение» — это по одному греческому диалекту; или «человек, указывающий самый прямой путь» — это по другому греческому диалекту». Оба смысла одинаково идут к делу: NN 4 спутывает всех и все, кто кого и что надобно спутать, распутывает всех и все, кого и что надобно распутать. Неужели NN 4 Аод. — Он такой простой и милый, только слишком серьезен, — даже для меня.

— Но я и муж, мы на себе видим, что нельзя проникнуть ни во что, чего мы не знали прежде. Что такое, в самом деле, женитьба Алфериньки? Ведь не может же быть, что NN 2 женат, — и притом он, конечно, жив и здоров. Но кто ж после этого Алферинька? Это выдуманное лицо во всем, кроме того, что я и мой муж знали о NN 2 прежде. Вероятно, это подстановка другого лица под тот же псевдоним? Но кто же подведен под псевдоним NN 2? Однако, довольно».